



rocketbook

ИВАН БУНИН

Солнечный удар



Иван Бунин

Солнечный удар (сборник)

«ЭКСМО»

2013

Бунин И. А.

Солнечный удар (сборник) / И. А. Бунин — «Эксмо», 2013

ISBN 978-5-699-63109-4

Иван Бунин (1870–1953) – первый русский лауреат Нобелевской премии (1933), выдающийся мастер слова, безупречный стилист. Писателю свойственно понимание любви как роковой силы, любви-страсти. Лишь мгновения есть у влюбленных. Подлинное чувство для И. Бунина – всегда недостижимая вершина, к которой стремится человек, но никогда не обретает навсегда, до конца своих дней. В этом и заключена трагичность человеческого существования, обреченного не воплотить свое главное предназначение – любить.

ISBN 978-5-699-63109-4

© Бунин И. А., 2013

© Эксмо, 2013

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Первая любовь | 5 |
| Велга | 12 |
| I | 13 |
| II | 14 |
| III | 16 |
| IV | 17 |
| V | 18 |
| Без роду-племени | 19 |
| I | 19 |
| II | 21 |
| III | 24 |
| IV | 26 |
| V | 28 |
| Поздней ночью | 30 |
| В августе | 32 |
| Осенью | 34 |
| I | 34 |
| II | 35 |
| III | 36 |
| IV | 37 |
| V | 38 |
| Новый год | 39 |
| Заря всю ночь | 43 |
| I | 43 |
| II | 45 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 46 |

Иван Бунин

Солнечный удар (сборник)

Первая любовь Из воспоминаний детства

*Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...*

- Митя!
- Митька!
- Дмитрий Алексеевич!
- Бледнолицая собака!
- Да вставай же ты, наконец!

Я уже проснулся, но старался показать, что страшно разоспался и не понимаю, в чем дело. Натягивая всеми силами на голову одеяло, которое тащили с меня Петя и Лева, я только мычал и брыкал ногами. Но они не унимались и, спрыгнув с подоконника, на котором сидели (влезли они из сада в окно), остановились около кровати.

– Вот какой ты! – пробормотал в нерешительности Петя. – Что с ним делать? Мы пропустим зарю...

– Уйдем, – своим обыкновенным, резким и отрывистым, тоном сказал Лева. – Он не товарищ, а баба, старый колелый лось! Влепим по кулаку и уйдем!

– Я, брат, так влеплю, что ты... умрешь! – неожиданно крикнул я, приподнимаясь и взмахивая кулаком так, как будто в нем что-нибудь было. В эту минуту мне казалось, что я необыкновенно грозен и дик.

Но Петя и Лева, к удивлению моему, разразились самым добродушнейшим хохотом и протянули мне руки.

Я, немного сконфуженный, пожал их, хмуро и нехотя, и опять упал на подушку.

– Ну, идем же, идем! – сказал Петя. – Мы в самом деле пропустим зарю.

Это было сказано так искренне-серьезно, что я сам испугался мысли пропустить зарю. На что нам была эта заря, для чего мы друг другу давали слово стеречь ее – я, право, теперь хорошо не объясню. Но тогда я думал, что это необходимо. Нам ужасно нравилось выходить из дому чем свет, когда еще и деревня, и темные поля, и далекий густой лес объаты мертвым сном и только на востоке небо покрывается серебряными, светлыми полосами. Тогда нам казалось, что мы совершенно одни и в свежем полутемном лесу действительно все таинственно и первобытно. Мы, как настоящие индейцы, забирались в самую чащу сада и, дожидаясь восхода солнца, садились в кружок и курили «трубку мира», или, иными словами, трубку, утащенную у моего дяди. И хотя я был уже лет двенадцати и отлично понимал, что все это игра, и даже совсем детская игра, но мне она так нравилась, что я не мог не наслаждаться ею.

Поэтому я сейчас же вскочил и стал натягивать чулки.

– Солнце ведь еще не взошло? – спросил я торопливо.

– Ты бы дрыхнул до обеда, – ответил Лева, – да потом бы и спрашивал.

«Пугает! Не так уж и поздно», – подумал я, подходя к умывальнику и ежась от утренней свежести, которая плыла в открытое окно.

Холодная струя воды заставила меня еще больше вздрогнуть и окончательно проснуться. Торопливо умывшись, я был уже готов к походу. Мы должны были отправиться нынче в дальний путь, в самый конец большого луга, который был у нас за садом. Там начинался лес,

и широкий луг переходил в узкие овраги, каменистые и изрытые весеннею водою. Сегодня мы намеревались выкурить там последнюю «трубку мира», чтобы распрощаться до лета. Был последний день пасхальных каникул, и дня через два я должен был ехать в Орел, в гимназию.

– Берите же, – скомандовал Лева, – поскорее луки.

Мы сейчас же надели луки и вылезли в окно на росистую траву сада.

Солнце еще только всходило. На траве лежало холодное матовое серебро росы, но по дорожкам земля уже отсырела и почернела. Светлый, зеркальный пруд слабо дымился. Но отражения высоких, стройных осин были еще неподвижны и ясны; соловей особенно звучно щелкал в молодой зелени. Утро только начиналось.

Мы шли вниз, к пруду, по широкой береговой аллее. Лева был предводителем. Он всегда любил быть первым, любил командовать нами, хотя и был моложе меня и Пети года на два. Выглядывал он еще совсем мальчиком; коротко стриженные белые волосы торчали на макушке; сложение было еще совсем детское. Но, несмотря на это, он постоянно старался казаться большим, вечно сдвигал брови над бегающими и дикими, как у зверька, глазками и хвалился, или, точнее сказать, не хвалился, а искренне воображал, что он необыкновенно силен. Брови он сдвигал главным образом для того, чтобы казаться грозным; при игре в индейцы, когда мы назначали, кому кем или чем быть, Лева выбирал себе всегда роль какого-нибудь особенно кровожадного краснокожего; называл он себя постоянно «Черной пантерой», смеялся и дразнил Петю, когда тот, в какой-нибудь стычке с мальчишками, раненный, садился и горько плакал и т. д. Но в душе Лева был все-таки очень добрый и чуткий мальчик; по уму – очень сообразительный и бойкий. Петя, напротив, был мальчик, которых можно встретить на каждом шагу.

Мы шли мимо пруда. Лева уже несколько раз сбегал к воде и изо всей силы бил палкою лягушек. Он уже вспотел, раскраснелся и измазал грязью, по своему обыкновению, руки, сапоги и штаны. Петя больше любовался природою.

– Что же, ты приедешь на лето сюда, к дяде, или уедешь к отцу? – спросил он меня.

– Непременно приеду сюда, – ответил я.

Лева обернулся в эту минуту и вдруг разразился самым веселым смехом.

– Чего ты? – в один голос спросили мы.

Лева продолжал хохотать.

– Я, брат, все знаю, – проговорил он наконец.

– Что ты знаешь? – удивился я.

– Про Сашу-то!

Я почувствовал, что моментально покраснел до самой шеи. Лева попал в самое больное место: я был в это время «страшно», как мне тогда казалось, влюблен в Сашу, его двоюродную сестру. Она обыкновенно проводила каникулы у отца Левы, так что, мечтая приехать на лето, я имел в виду единственно ее.

– Какую Сашу? – не зная, что сказать, спросил я и сам почувствовал, что сказал страшную глупость.

– Зачем ты лжешь, как старая баба? – вдруг строго перебил меня Лева. Глаза у него засветились, как у зверька, брови сдвинулись.

– Что я лгу? – спросил я тоже строго.

– Ты лжешь, что ты не знаешь, про какую Сашу я говорю, – отчеканил Лева, – а сам влюблен в нее...

Я моментально схватил лук с плеч и трясущимися руками наложил стрелу.

– Нет, ты лжешь! – закричал я, уже совсем растерявшись. – Я вот тебя сейчас...

Но Лева перебил меня:

– Я давно знал. Я не хотел говорить Пете... А вот теперь скажу... Только она уже вчера вечером уехала... Выкуси... А если хочешь выходить на бой – становись.

Лева тоже разозлился. Глаза бегали, щеки покраснелись.

– Не хочу я с тобою драться, – сказал я, всеми силами стараясь казаться спокойным. – А только ты сам дурак! И я не хочу больше с тобою идти.

С этими словами я повернулся и пошел опять в сад.

– Да на меня-то за что ж? – жалобно закричал Петя.

Но мне показалось, что они оба заодно хотели меня огорчить и сконфузить. «Братцы», – подумал я и потом, не оборачиваясь, крикнул:

– Подите вы к черту!

Итак, обстоятельства сложились весьма плохо: вместо мирной прощальной экспедиции вышла ссора, вместо окончательного свидания с Сашей – весть о ее отъезде, или, иными словами, – о разлуке с нею до самого лета. Я говорю «окончательного» потому, что думал перед отъездом улучшить минутку, чтобы объясниться с нею. Правда, уже раз я с нею объяснился, но тогда это как-то не вышло. Мы встретились у них в сениях; я покраснел, почувствовал, как будто кто-то провел мне по волосам ледяною щеткою, ероша волосы; я даже не сказал «здравствуйте». Несмотря на то, что Саша была старше меня года на два, я постоянно ее конфузился. Она сама протянула мне руку.

– Что это вас давно не видно? – спросила она.

– Нет, я был недавно, – сказал я, – вы меня не видали.

– Вы, должно быть, были в саду?

– Нет, я и в доме был.

Саша засмеялась вдруг так звонко и мило, что я сразу ободрился, хотя и не понял, чему она смеется.

– Вы, должно быть, в шапке-невидимке были?

– Нет, в своем картузе, – сострил я и окончательно смешался.

– Ну как же я вас не видела? – добивалась Саша.

– Да вы всегда не хотите меня видеть.

– Как это не хочу?

Но я уже не слушал ее и, чувствуя, что мне становится все жарче и жарче, продолжал:

– Я не знаю, за что вы меня так не любите? Мне кажется...

– Вам бог знает что кажется, – перебила вдруг Саша, краснея, тихим и ласковым голосом. – Я, напротив... я даже во сне вас почти каждый день вижу...

Но в эту минуту загремели чьи-то дрожки, и Саша, быстро дотронувшись губками до моей щеки и моментально вспыхнув, исчезла за дверью.

Не успел я еще прийти в себя (у меня даже дух захватило от радости), как уж кто-то застучал по лестнице. Я нахлобучил картуз и, засвистав, что обыкновенно делал, чтобы скрыть неловкость, быстро сошел с лестницы, встретившись с приехавшим приказчиком, и через сад убежал домой.

Припоминая все это с особенной грустью и нежностью, я сидел один-одинешенек в гостиной. День был теплый, солнечный. В пустом доме (дядя с утра уезжал в поле, прислуга была на кухне) было всюду безмолвно и светло. На балконе дверь была открыта, и из сада иногда залетали пчелы и бабочки. Ветерок осторожно колебал молодую зелень березок. В саду кричали петухи, и как-то особенно весело, по-весеннему, раздавался их крик в этот апрельский солнечный день.

В раздумье я иногда вставал и подходил к открытой двери балкона. Прислонившись к притолоке, я глядел вдоль по березовой аллее, где из свежей рыхлой земли и из-под прошлогодних листьев торчала ярко-зеленая травка; я чувствовал какой-то неясный садовый аромат, слушал музыкальное жужжание пчел, гулкие удары валька на пруде, – и все нежнее и поэтичнее

становилась моя тоска. Мне казалось, что я еще никогда не был таким молодым и прекрасным и вместе с тем таким одиноким и печальным. Я глядел в далекие поля, которые открывались с правой стороны сада, и невольно повторял с поэтом:

Что звенит там вдали, и звенит и поет?
И зачем эта даль неотступно зовет,
И зачем та река широко разлилась,
Оттого ль разлилась, что весна началась?

«Что звенит там вдали, и звенит и поет?» – спрашивал я себя с особенною грустью. В ответ на это на глазах выступали слезы, и, стараясь скрыть их, я опять шел бродить по освещенному солнцем безлюдному дому.

– Что это ты сидишь, как шалелый? – спросил меня за обедом дядя.

Я едва мог ответить: моя нежность и поэтичность была оскорблена самым грубым образом.

К вечеру мне стало еще грустнее. Я ушел в поле, дошел до леса и лег на опушке. Лежа на своей шинели, я долго мечтал, до тех пор пока над стемневшими полями не засветилась серебряная звездочка – Венера.

Возвращаясь, я решил непременно съездить на другой день в город. Лева и Петя уже теперь там (они уехали перед вечером), и можно выдумать, что я к ним за книгами – за латинской грамматикой, например. А между тем можно увидеть Сашу, хоть еще раз поговорить, просить писать и т. д.

Подумав это, я почти повеселел и заснул спокойно. Но судьбе было угодно, как говорится, распорядиться иначе.

Дядя у меня был совсем старик – лет под шестьдесят. Человек он был очень странный и в высшей степени серьезный, по-солдатски исполнительный, аккуратный и строгий. Причиной этого была, главным образом, его долголетняя военная служба где-то в гарнизоне. Образования он не получил почти никакого и по выходе из военной службы поселился навсегда в деревне одиноким холостяком. Имение у него было небольшое, но средства прекрасные: он вел спартанскую жизнь и был неутомимый хозяин; в прежнее время он даже косил сам. Я у него любил гостить, разумеется, единственно из-за того, что в той же деревне на каникулах жила Саша.

Рано утром (дядя вставал до зари) я заявил ему о своем намерении.

– Что ж, поезжай, – сказал он.

– Только на какой же? – спросил я.

– Этого я уж не знаю.

Я запнулся. Дядя всегда любил такую манеру разговаривать.

– Я на чалой поеду, – наконец выговорил я.

– На чалой я поеду, – ответил дядя.

– Значит, на «лысой кобыле»?

– Я поеду парой, а ты знаешь, что разъездных лошадей весной у меня только две.

– Ну как же быть-то?

Дядя улыбнулся.

– Ну как же быть-то? – повторил и он. – Значит, надо ехать со мной.

«Ехать с дядей!» – уж одно это огорчило меня. Но делать было нечего. Я поскорее собрался, потому что дядя не стал бы ждать ни минуты, и через полчаса мы уже ехали в город, сидя вдвоем на телеге, высоко наваленной соломой.

Не стану подробно описывать наше путешествие, жаркое, знойное утро, облака густой пыли на большой дороге и несносно медленное движение за обозом, который мы нагнали. Обоз

был очень длинный, и дядя, любивший всегда медленную езду, не стал объезжать его. Пахнущие дегтем телеги были тяжело навалены кулями муки и запряжены седловатыми, огромными, но ленивыми меринами. Возчики, сидя на грядках, дремали, и казалось, что им совершенно безразлично, когда они доберутся до города. Только на одной телеге сидел мещанин, похожий на борзую собаку, и всю дорогу ругался со стариком, ехавшим сзади. Но старик, сутуловатый, толстый, с маленькими глазками и громадной рыжею бородой, по-видимому, ругаться умел очень плохо, и брань выходила вялая, так что не разгоняла скуки.

– Посмотрим, долго ли ты выдержишься у самого-то, – говорил мещанин, выплевывая подсолнухи и болтая ногами. – Посмотрим!

– Небось! – отвечал старик злобно и хрипло. – Небось! Уж если тебя, мошенника, держат...

– Меня-то будут держать! – перебивал мещанин.

– Все этаких чертей держат, – возражал старик.

– «Чертей», – передразнивал мещанин гнусливо, – «чертей»! Слезь, дьявол, высморкайся! Загундосил.

– Сам высморкайся! – повторял старик.

– Енот, дьявол! – не унимался мещанин.

Старик страшно обижался, вскакивал и кричал:

– Я не енот, а крещеный человек! Ты сам енот!

Но мещанин опять перебивал его...

Часов в десять утра (до города было верст двенадцать) мы, наконец, добрались и остановились на постоялом дворе.

Дорога, впрочем, не произвела на меня особенно неприятного впечатления. Думая, что часа через два я буду видеть Сашу, грациозную, веселенькую Сашу, я мало обращал внимания на все неудобства и на неприятности дороги. Но на постоялом дворе дело пошло хуже. Еще въезжая в ворота, дядя заметил, что под навесом на телеге лежит прекрасно отпоенный теленок, и сейчас же закричал его хозяину, сидевшему тут же:

– Дядя, что это привез продавать – бычка или телушку?

– Да, – флегматично ответил мужик.

Дядя после этого замолчал и, когда мы слезли с телеги, неизвестно куда скрылся. Я уже успел надеть воротнички (прифрантился) – его все нет. Я бросился, наконец, искать. Забежал в комнаты, где несносно заливалась канарейка, посмотрел еще кое-где – нету. Иду к телеге – навстречу мне дядя, а за ним мужик тащит к нам теленка.

– Купил теленка, – сказал мне дядя. – Ты тут посиди около него, а я схожу кое-что купить. Меня даже в жар бросило.

– Как? Теленка караулить? – чуть не со слезами возопил я. – Что ж это такое?

– Что ж тут такого? – перебил дядя строго. – Конечно, караулить, – утащить могут. А сходить ты еще успеешь, я сейчас приду. Значит, посидеть можно. Если же неприятно – не ехал бы. Да и не поедешь уж отсюда – пешком, брат, попрешь, если не посидишь. Понял?

Что тут было делать? Тогда мне казалось, что дядя так строг, что легко может исполнить подобное обещание. Чуть не со слезами уселся я около проклятого теленка.

Жду... Проходит час – дяди нет. Телег наехало видимо-невидимо. Под навесом пахнет навозом, жара, духота. Просто смерть моя! Теленок лежит как околелый: глаза дурацкие, стеклянные, связанные задние ноги вытянуты, бока вздулись.

«Хоть бы околел, анафема!» – думаю я с тоскою, поколачивая его кулаками в бок. А обида, тоска все разрастаются.

Опять жду. Проходит еще час. В злобе, со слезами на глазах я, наконец, вскакиваю с твердым намерением уйти и бросить теленка. В это время показывается дядя. Сзади него мужик

тащит новое колесо, мешок мелу, несколько «подвой» (железные прутья для сохи) и еще что-то в кулечке.

Я бросился к дяде:

– Что же это, дядя, ты до сих пор?

– Заговорился с знакомым мещанином, – спокойно ответил дядя, – да вот и опоздал. Нам пора бы теперь в дороге быть. Поскорей запрягать надо.

– Как – запрягать? – едва мог я выговорить. – А я-то?

– У меня дела посерьезней твоих, – отрезал дядя. – Не забивай глупостями мне голову. Я все равно сейчас поеду, а за книгами к Пете мы можем заехать.

Я прикусил губы чуть не до крови и побрел к калитке.

– Хорошо же! – вскрикнул я в порыве злобы и отчаяния. – Хорошо же! Уйду, непременно уйду! – И, прислонившись к калитке, я заплакал. Поплавав, я несколько успокоился. Я поглядел красными глазами по пыльной улице и вдруг почувствовал, что мне уже нисколько не хочется видеть Сашу. Теперь все равно свидание с нею не могло быть таким светлым моментом. Мне казалось, что в душе у меня не осталось уже ни капли любви.

Я махнул рукой и, хмурясь, влез на телегу. Но, влезая, я подумал, что все-таки не худо бы хотя на минутку поглядеть на Сашу, хоть попросить бы писать мне... Мы тронулись.

– Я забегу хоть в женскую гимназию, – начал я, – и скажу Саше, чтобы она передала Пете о грамматике. А он теперь еще в классах.

– Так мы поедем туда, – сказал дядя.

– Да нет, мужская гимназия на другом конце города, далеко.

– Ну все равно, – согласился дядя. Видимо, на него нашел «добрый стих».

Доехав до угла, за которым была женская гимназия, я попросил дядю остановиться и с бьющимся сердцем, одергивая блузу и поправляя воротнички, побежал к гимназии.

В швейцарской я погляделся в зеркало и нашел себя хорошеньким: должно быть, от слез и волнения лицо стало нежного цвета, на щеках играл румянец, глаза светились темным блеском.

– Можно видеть, – робко спросил я у швейцара, – ученицу третьего класса, Александру Брянцеву?

– Подождите пять минут, – сказал швейцар.

Я стал ждать. Мне стало снова весело и легко на душе. Про то, что дядя ждал меня на углу, я и забыл думать.

Резкий звонок заставил меня вздрогнуть, и сейчас же вслед за ним наверху и внизу коридоры зашумели и загудели молодежью. Саша сбежала ко мне еще более милая и изящная в своем простеньком платьице.

Смушенно и радостно улыбаясь, я подал ей руку. Около нас толпилось человек пятнадцать ее подруг, и потому мы отошли к самым выходным стеклянным дверям.

– Когда же вы едете? – спросила Саша.

– Завтра, – сказал я, то расстегивая, то застегивая пряжку пояса. – Зашел проститься... Вам хоть немного будет меня жалко?..

Саша покраснела и хотела что-то ответить... Но вдруг стеклянные двери открылись и вошел... дядя! Я обмер.

– Что же ты тут, ночевать, что ли, остался? – сказал он сердито, стоя передо мною с кнутом в руке. («Как мужик!» – мелькнуло у меня в голове). – Ждал, ждал тебя! Наконец решился подъехать сам.

– Как подъехать? – возопил я и глянул через стеклянные двери... О ужас! Перед самым подъездом стояла наша телега с колесом в задке и с теленком посередине! Не помню, как я пробормотал что-то Саше о каких-то книгах, как вышел из гимназии и влез на телегу. От стыда я не знал куда деваться. На подъезд выбежала целая толпа гимназисток.

Саша хохотала, глядя, как я, с трудом оттолкнув теленка, уселся на грядке телеги, свесив ноги.

– Я тебя в другой раз выпорю, если ты будешь так же лгать, – бормотал дядя, усаживаясь на телегу.

И, как на позорной колеснице, потащил меня со двора гимназии. Теленок, перепугавшись, бился и мычал. Гимназистки хохотали. Я сидел как во сне, как в чаду...

Вечером того же дня я ехал на вокзал. В детской измученной душе было как-то пусто. Я уже, конечно, и не думал когда-либо быть у дяди и видеть Сашу... Молча я лежал на телеге. А вечерняя заря была так поэтична и задумчива... Мы ехали прямо на запад. Вдалеке передо мною медленно меркнул свет заката. В теплом стемневшем воздухе уже чуялась душистая свежесть росистых степных трав и цветов. Изредка доносился откуда-нибудь из «ночного» звук колокольчиков на жеребятах, и опять все смолкало. Все более и более погружались в какие-то тихие думы и придорожные хлеба, и вся молчаливая степь, по мере того как темнела весенняя полевая ночь...

1890

Велга

Слышишь, как жалобно кричит чайка над шумящим, взволнованным морем?

В туманной дали, на западе, теряются его темные воды; в туманную даль, на север, уходит каменистый берег. Холодно и ветрено. Глухой шум зыби, то ослабевая, то усиливаясь, – точно ропот соснового бора, когда по его вершинам идет и разрастается буря, – глубокими и величавыми вздохами разносится вместе с криками чайки... Видишь, как бесприютно вьется она в тусклом осеннем тумане, качаясь по холодному ветру на упругих крыльях? Это к непогоде.

День с самого утра хмурится. Здесь, на этом неприветливом северном море, на его пустынных островах и побережьях, круглый год ненастье. Теперь же осень, а север еще печальнее осенью. Море угрюмо вздулось и становится темно-железного цвета. Издали необозримая равнина его кажется выше берега, она уходит в туманный простор на запад, а ветер все быстрее гонит с запада волны и далеко разносит крик чайки.

– Кри-э! – жалобно и пронзительно звучит по ветру.

Утром она беспокойно и криво летала над самым прибоем. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло берег. Здесь оно, налетая на него с грохотом и шумом, рыло под собою гравий, там, как кипящий снег, рассыпалось с шипеньем и широко взлизывалось на берег, но тотчас же скользило, как стекло, назад, подпирая собою новый крутящийся вал, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось в воздух. И далеко гудел берег от прибоя... Чайка с криком бросалась между волнами, плавно скользя по воде в их ухабы, выносилась на новой волне до высокого гребня и взлетала вся в брызгах и пене. Ветер вольно носил ее низко над морем.

Но потом она словно устала. Надвигается ненастный вечер, и бессильно качается чайка по ветру, все дальше уходит, белея в тумане, от берега в море... Слышишь, как жалобно раздаются ее радостные стенания?

Вон она уже еле-еле виднеется в сумраке. Быстро спускается темная бурная ночь; чаще и чаще мелькают в море седые космы пены. Шум прибоя растет, ледяной ветер вздымает и бешено срывает волны, разнося по воздуху брызги и резкий запах моря.

– Кри-э!.. – доносится откуда-то издалека, снизу.

Слушай, я расскажу тебе, под шум бушующего северного моря, старую северную легенду.

I

Было это давно, в незапамятное время.

У холодного северного моря жила молодая и сильная Велга. На закат были воды, на восток – песчаный берег, близко за селением сходявшийся с небом. Что было там, к востоку, Велга не знала и не хотела знать. Она никогда не ходила к востоку. Не ходил и отец ее, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра, Снеггар. Они знали только море.

Возле моря прошло детство Велги. Быстро прошло оно, и весело было ей в детстве! Зимой, когда море только под самым краем неба чернело волнами, а у берегов было покрыто белым снегом, Велга спала в мягком гагачьем пуху и, просыпаясь, видела перед собой живой свет очага среди темной и низкой хижины. Летом, когда светит солнце, дует теплый ветер и вода легко плещется в море, Велга искала на песках яички зуйков и плавунчиков или бегала к прибою, ложилась ничком на берег, а волны с шумом обдавали ее... Так забавлялась она летом, и всегда с Велгой были Ирвальд и Снеггар.

Толстая Снеггар часто смеялась и пела, да не умела она так звонко кричать и так смело кидаться в шумящее море, как Велга. Но Ирвальд умел, и раз Велга сказала ему:

– Отчего ты не брат мне, Ирвальд? Отчего у меня нет брата, которого я любила бы так, как тебя, Ирвальд? Я бы не скучала без тебя долгую зиму.

Он взглянул на нее, улыбнулся и вдруг кинулся к морю.

– Смотри, смотри: гагара! – закричал он ей.

И они, как ветер, гнались друг за другом, убегали туда, где в прибрежных пещерах звонко раздается голос, где у берега громоздятся высокие скалы, а тяжелая вода с шумом поднимается и скользит между ними, шипит и кипит, опускаясь, и с журчаньем, струями сливается с плоского камня. Там дразнили они волны, близко подбегая к ним...

Зачем так быстро прошло детство Велги?

Все нетерпеливее проводила она долгие зимы в хижине, занесенной снегом. Стало ей четырнадцать лет, а Ирвальду – шестнадцать, и часто уходил он теперь за рыбой в море. Но зато как радовалась Велга, когда Ирвальд возвращался!

– Милый Ирвальд, – говорила она ему, – мне хочется плакать, что так долго тебя не было, и хочется смеяться, что я опять вижу тебя!

Но уж выросла и Снеггар большая. Ирвальд забывать стал о Велге. Он часто сидел возле Снеггар и глядел в ее веселое лицо. А Велга издали следила за ними. Не хотелось ей при сестре разговаривать с Ирвальдом. Но, когда он уходил по берегу к своему дому, Велга догоняла его и провожала до самого порога.

– Милый Ирвальд, – говорила она ему, – зачем ты так долго сидел возле Снеггар? Зачем горе мешает моей радости?

И стала Велга петь на берегу моря звонкие песни сквозь слезы. А когда с ней встречались подруги, она замолкала, и лицо ее становилось сурово и гордо.

II

Хижина отца Велги стояла вдалеке от рыбацкого селенья, на каменистом побережье, засыпанном жесткими песками, и в часы прилива море добегало до ее порога.

Если же прилив был в бурю, то оно хлестало даже в окна, затянутые кишками гагары. Тогда Снеггар обрывала песню, бросала в испуге работу и уходила от окон. Старая мать Велги бормотала заклятия и с тревогой прислушивалась к завыванию ветра. Но сама Велга не боялась бури. Она вместе с отцом выходила на мокрый порог хижины, скатывала на ветру сети, а потом вбегала в воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ее босые ноги, обдавая их шипящею, серою пеной и опутывая мокрыми бледно-зелеными травами. Велга разрывала их ногами и вдыхала сильной грудью свежий, влажный ветер, поднимала навстречу ему голову, а ветер трепал ее русые волосы. Так стояла она, молодая и стройная, и лицо ее было смело, бирюзовые глаза зорко глядели вдаль. Но только птицы св. Петра носились там крикливыми стаями и по воде взбегали, распустив крылышки, на самые высокие гребни взметывающихся и рассыпающихся водяных бугров.

Девушки стали называть Велгу печальною и злою, потому что никогда не смеялась Велга и не пела с сестрой за работой. Но никогда до пятнадцати лет не бывала Велга печальною и злою. Сердце ее было отважно, как у молодой птицы, и радовалась Велга на бури и море, на солнце и землю, на свою девичью свободу. Только без Ирвальда грустила она: сильно хотелось ей рассказать ему, как хорошо жить на свете.

Ирвальд давно был в море. Утомилась Велга ходить по побережью и следить за волнами: хотелось ей крикнуть через море, что утомилась она ожидать Ирвальда, что нельзя ему любить Снеггар, если Велга не может жить без него.

А когда подул теплый ветер с заката и стало опускаться к морю солнце, Велга пришла к сестре и сказала ей:

– Милая Снеггар, хочешь, я расскажу тебе, как ласков летний ветер, как легко пахнет море водой и как мне грустно без Ирвальда?

– Не хочу, – отвечала Снеггар, праздно и спокойно сидя у порога.

Велга ушла от нее, села на берегу и долго слушала, как плещется теплая вода в сумерках. Слезы, как теплая вода, падали на ее руки.

Увидав Ирвальда, она вскрикнула, а он засмеялся и приказал ей носить из лодки рыбу и сети на берег. Она послушно и долго трудилась с ним, а когда стал подниматься над морем большой бледный месяц, она утомилась, села в пустую лодку и вздохнула ночным ветром.

– Ирвальд, – сказала она, – я ждала тебя – и беспокойно билось и томилось мое сердце. Но когда ты приехал, так легко стало мне!

А Ирвальд сидел, глядел на месяц. Стыдно стало Велге, что он не ответил ей, и она, опустив глаза, спросила его тихо:

– Ты слышал мои слова, Ирвальд?

– Да, – сказал Ирвальд.

И тогда совсем низко наклонила Велга голову и проговорила:

– Возьми меня в свой дом, Ирвальд! Я буду ходить с тобой в море, буду петь тебе песни и работать с тобой. Так сладко жить на свете с тобой!

– Мы никогда не будем жить с тобой, – твердо ответил ей Ирвальд. – Завтра я опять уйду в море, а когда вернусь, возьму за руку Снеггар. Вместе проведем мы зиму, а летом уплывем, как две гагары.

– А я? – медленно сказала Велга и почувствовала, как тяжело застучало ее сердце. – Я останусь одна? – громко сказала Велга.

– Да, – ответил Ирвальд.

Тогда Велга быстро прыгнула на берег и быстро пошла по берегу. И когда далеко ушла, кинулась на серый камень и закричала месяцу, что ей больно в сердце, и зарыдала, и упала на камень.

III

Слышишь, как дико завывает ветер во мраке? Неприветливо северное море!

Осень наступила наутро, и зашумели в тусклом тумане отяжелевшие волны. И когда пахнуло на Велгу холодным ветром, вскочила она и бросилась в воду. Но волна поднялась и далеко отшвырнула ее на берег.

– Море не хочет, чтобы я умерла, – сказала себе Велга. – Прежде я должна убить Ирвальда.

И молча возвратилась она домой. Высохли на щеках ее слезы, и спокойно было ее суровое лицо, но темно на сердце.

– Снеггар, – сказала она сестре, – уехал Ирвальд?

– Да, – отвечала Снеггар.

– Когда вернется он? – спросила Велга.

– Когда начнет падать мокрый снег и потемнеет море, – отвечала Снеггар.

Тогда Велга съела рыбы и ушла на порог хижины. Там села она на ветру и просидела весь день, скорбно сдвинув брови. На ночь она вернулась под кровлю, а утром опять вышла за двери, ожидая Ирвальда. И так проводила она дни и ночи, пока не пошел первый, мокрый снег.

«Скоро вернется Ирвальд, – думала Велга, и сладостная горечь обиды томительно вливалась в ее сердце. – Я убью его, а потом и сама успокоюсь в могиле».

Но Ирвальд не возвращался. Уж надвигались сумерки, и все чаще стала Велга подниматься с порога и, стоя, напряженно глядеть в море. И в сумерках из хижины вышел старый отец Велги. Ветер развеивал его длинные седые волосы.

– Велга, дитя мое, – сказал он ласково, – отчего ты покинула родной дом? Вот поднимается зловещая ночная буря, перед которой неутешно тоскует сердце человека. Помогите мне укрепить подпорками стены, положить камней на кровлю из кожи тюленей, и укроемся под кровлю от непогоды и ночи.

От нежных слов дрогнуло сердце Велги жалостью к самой себе, к отцу и к Ирвальду. Она поспешно стала помогать в работе. Ветер валил их с ног и застилал весь воздух водяною пылью, словно в море бушевала вьюга. В самые окна хлестали волны косматой пеной, и в испуге поспешила Велга под кровлю.

Там, в темноте ночи, вдруг вспомнила она, как много лет тому назад, когда Ирвальд был еще ребенком, он остался ночевать в их хижине. Он был в эту ночь ее гостем, и она сама постлала ему постель и поцеловала его, по обычаю гостеприимства, перед сном. Она вспомнила милое ей лицо его, и еще больше овладели ее сердцем жалость и любовь к нему. Тогда она, забыв, что хотела убить его, быстро встала с ложа и в тревоге стала слушать. Ей чудились в шуме ветра его крики, и всю ночь трепетала она от страха и, обессиленная, забылась сном лишь под утро.

Море же стало стихать; в воздухе повеяло дыханием зимнего мороза. И когда Велга проснулась и отворила на дневной свет дверь дома, навстречу ей переступила порог Снеггар.

– Велга! – сказала она. – Буря унесла Ирвальда на дикие острова Ледяного моря и разбила его лодку. Он один теперь в море и ждет смерти от холода, голода и толстых клювов морских птиц.

– Кто сказал тебе? – крикнула Велга.

– Я была у вещей Чарны, и она гадала мне на кишках гагары, – отвечала Снеггар и, закрыв лицо руками, стала плакать.

– Снеггар... – нежно хотела проговорить Велга.

Но брови ее сурово сдвинулись, и она сильной рукой распахнула дверь дома.

IV

Она быстро пошла по побережью на север. В холодный темный вечер вступила она в хижину Чарны, теплую от костра, пылающего красным пламенем.

– Научи меня, о вещая! – воскликнула она перед Чарной. – Укажи путь к Ирвальду!

– Поспеш! – сказала Чарна. – Два дня и две ночи надо плыть к Ирвальду. Не поспеешь к рассвету третьего дня – он погибнет. Но скажи мне, Велга, слыхала ли ты о пустынях Ледяного моря, где так же дико и печально, как в первые дни мира?

Как пойманная рыба, затрепетало сердце Велги.

– Пожалей меня, Чарна, – отвечала она. – Горько мне расстаться с жизнью. Но, если так надо, скажи: что будет со мной?

– Два дня и две ночи проведешь ты в тоске и страхе среди моря, – сказала Чарна. – А когда ступишь на остров, где томится Ирвальд, обратишься ты в чайку, и не узнает он, для кого ты погибла.

Как первый снег, побледнела Велга, но глаза ее сверкнули радостью, и она отвечала Чарне:

– Я иду, Чарна!

– Поспеш, – сказала Чарна.

Против ветра, по мокрому песку побережья побежала Велга к шумящему, темному морю. Хотелось ей крикнуть «прости» сестре, отцу и матери, но беспокойно билась у берега лодка на волнах, и быстро прыгнула в нее Велга. На закат, где едва светила кровавая полоса зари, направила она лодку и стояла, качаясь на волнах, и слезы горели на ее глазах, а ветер развеивал в темноте ее белую одежду и дул в лицо с Ледяного моря.

V

На рассвете увидела она себя окруженной бледным морем у песчаного пустынного острова. Никого не было на том острове. Только вода взбегала на его песок и белела пеной. «Водяные пастушки» на высоких и тонких ногах бегали у прибоя и искали среди раковин пищи. Но и «водяных пастушков» было мало. На зиму улетают они к берегам, где дуют теплые ветры.

А Ледяное море уже начиналось. Целый день плыла Велга и вступила в те безграничные воды, что уходят на край света и сливаются с небом. Все тяжелее стучали волны в дно лодки, потому что уже нет земли под теми волнами. Дикие северные птицы живут в тех морях, вдали от людей, на скалистых островах. Они сильны и одеты плотным пухом; они всю зиму могут плавать среди льдов и глубоко ныряют в ледяную воду. Тысячи их гнездились на островах, и каждый остров, как снегом, белел птицами. Там были гнезда на уединенных утесах и в норах, под утесами. И в сумерках проплывала Велга мимо самого большого острова.

Он весь, сверху донизу, был покрыт, как серою корой, засыхающим пометом птиц, их перьями и пухом. Птицы длинными рядами сидели на всех уступах скал. Внизу гнездились те, что были поменьше, наверху стояли и дремали самые большие и прожорливые, с белыми животами и черными спинами, с толстыми шеями и маленькими головами, с блестящими глазами в кольцах белого пуха и с огромными уродливыми клювами, с крепкими грубыми лапами и короткими руками без пальцев. Птицы громко разговаривали, а как только наступили сумерки и Велга, обессиленная борьбой с морозным ветром, причалила к берегу на отдых, тысячи их поднялись с шумом над нею, а самые большие загоготали и заревели дико и радостно, стараясь перекричать друг друга... И как снег побледнела Велга, собрала последние силы и опять прыгнула в лодку.

И к вечеру последнего дня показался среди пасмурного тумана высокий и дикий утес на краю света, тот, до которого доходили только могучие викинги и вбили в него железные кольца, чтобы привязывать лодки. Яростный шум и гул бурунов сливался там с тысячеголосыми криками хищных птиц, кружившихся в тумане. А Ирвальд лежал у прибоя, обессиленный предсмертным сном от холода и голода. Он был бледен, как морская пена, и в кудрях его был мокрый песок.

– Ирвальд! – крикнула Велга страстно и звонко.

От голоса ее мгновенно очнулся Ирвальд. Хотела Велга крикнуть ему, что она любит его, как в детстве, но не коснулись ее ноги земли, когда она прыгнула с лодки на берег: в воздухе повисла она крылатою белою чайкой, и крик ее раздался жалобно-радостным криком чайки над Ирвальдом. Он мгновенно очнулся от крика, – голос друга коснулся его сердца, – но, взглянув, он увидел лишь чайку, взлетевшую с криком над лодкой...

Он уплыл на восток. Она долго вилась над водой, провожая Ирвальда. А когда он сокрылся вдали, закачалась она бесприютною чайкой по ветру. Так тоскует она и доныне, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд. Но в стенаньях ее звучит радость.

Без роду-племени

I

С вечера я спал крепко, потому что слишком измучился за день, но потом мне стало сниться, что я иду по каким-то станционным дворам и запасным путям, среди паровозов и вагонов, ищу мужа Зины и хочу непременно убедить его, что я вовсе не враг ему. Я любил Зину, но теперь не думаю о себе, желаю только ее счастья. Казалось даже, что я говорил ему это, но он все уходил от меня, и я плохо его видел, а моя нежность к Зине возрастала, все кругом темнело, странно вытягиваясь коридором, и вот этот коридор – слабо освещенный, насквозь видный ряд вагонов – уже бежит, дрожа подо мною, и какая-то красивая девушка, перебивая мои слова веселым шепотом, зовет и уводит меня за руку все дальше по узкому коридору поезда. Я едва поспеваю за нею, в поезде темнеет, вагоны бегут, увлекая меня за собою, – падают все ниже и ниже, точно сама земля падает под ними, и радость, страсть и отчаяние достигают во мне такого напряжения, что я делаю усилие крикнуть – и просыпаюсь.

Так начался этот день. Очнувшись, я долго и тупо глядел на стену, изумленный спокойным видом комнаты. Давно день, ставни открыты, и на часах – половина десятого... Боже, какой тяжелый вздор снился мне! И что это напоминает он неприятное и как будто неестественное? Ах да! Зина повенчалась вчера с Богаутом...

Вот теперь я уж твердо верю в это. Правда, я ждал этого – и все-таки продолжал ходить к Соймоновым. И вдруг однажды вечером – темнота и тишина во всем доме; старик Соймонов один сидит в темном кабинете, усиленно курит, задыхаясь более обыкновенного, и говорит мне, как только я появляюсь на пороге, неестественно равнодушно:

– А Катерина Семеновна с Зиной по лавкам поехали.

И, попыхтев, продолжает иронически:

– Великое переселение народов, что называется... К семейному торжеству готовимся... Нынче, знаете, весьма скоропалительно выходят эти истории!

Он хочет смягчить свои слова иронией, но я понимаю его и стараюсь только об одном – получше попадать ему в тон, чтобы поскорее и поприличнее уйти.

И я ушел, пришибленный, точно выгнанный из дому. Чтобы заглушить чувство боли, я усиленно развивал в себе злобу, презрение к этим свадебным приготовлениям. Я бродил по городу и, когда однажды встретил жениха, проехавшего с какими-то картонками в коляске, остановился и расхохотался. Катается на чужих лошадях и доволен! Как домой, является в чужую семью, где портнихи и белошвейки завалили все комнаты материями и выкройками!.. А потом будут сумерки, освещенная церковь, суeta около паперти... Подкатывают кареты, и щеголь-пристав горячится, чтобы сохранить порядок в этой церемонии... И церемония совершается в образцовом порядке!

Но даже попытки злиться не удавались мне. Я ходил на службу, и тоска, боль дурманили мне голову. А тут еще Елена! Она одинока, измучена беганьем по урокам, бросила семью и живет впроголодь; но зато у нее есть цели и надежды, мечты о курсах, о науке, о работе для общества. У меня нет пока никаких целей, и вольно же ей было мечтать увлечь и меня за собою! Всегда резко-бодрая, она изменилась за последнее время. То грустно-ласкова со мной, то хмурится, точно ей больно. А когда я заявил ей третьего дня о своем отъезде, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами, потом неловко и кротко улыбнулась и, едва выговорив: «До свидания», – ушла... Я рассеянно посмотрел ей вслед.

Но вот эти сумерки наступили, и я очнулся. Я минута за минутой пережил в воображении все, что должно происходить в церкви, и жгучая злоба, ревность разрывали мне сердце. Я

плакал и кого-то умолял сжалиться надо мною... Если бы вошла она в эту минуту! Я обезумел бы от счастья, целовал бы ее ноги! Иногда я порывался бежать к ней и у нее искать спасения от моей скорби. Но она-то и мучила меня. Выхода не было, и я метался по своей комнате... Потом острая боль стала замирать. Совсем стемнело; затихающий гул соборного колокола медленно и ровно раскачивался над городом. Я знал, что все уже кончилось там, в церкви. Острую боль заменила тупая, скучная, и я крепко заснул.

Вот опять день, но мне теперь легче. То, что снилось, так странно слилось со всем пережитым за последнее время. Надо встать, собраться и куда-нибудь уехать...

II

Я долго мылся холодной водой, потом, не спеша, стал одеваться, что-то обдумывая. За стеной малороссийской скороговоркой ругала кухарку хозяйка. Мимо окна мягко прокатил по немощенной мостовой извозчик; стуча сапогами по деревянному тротуару, прошли два семинариста. Мне бы тоже давно пора идти – на службу, но я уже давно бросил думать о службе.

– Вы ж, панычу, справди уедете сегодня? – спросила Одарка, входя в комнату с кипящим самоваром в руках.

– Что? – машинально проговорил я и, помню, долго глядел на нее без ответа. «Да, – думал я, – Зина уедет сегодня с мужем в Крым. Значит, мне тоже надо уехать отсюда».

– Непременно уеду, – ответил я твердо. – Непременно.

И, как только Одарка скрылась, заварил чаю и несколько раз прошелся из угла в угол, оглядывая, с чего начать сборы в дорогу. Но вдруг дверь снова распахнулась: почтальон!

Я быстро схватил письмо – и мгновенно разочаровался. «Пожалуйста, не уходи никуда завтра. Мне нужно серьезно поговорить с тобой. Елена». «Какое бабье письмо!» – подумал я со злобой. Не уходи, серьезно поговорить! Что я могу сказать ей? Взволнованный, я кинул письмо на стол и опустил в кресло.

День облачный, ветреный – стоит уже конец сентября, – и ветер проносит по улице пыль и листья. В открытую форточку долетает тревожный шум тополей. Улица, где я так однообразно провел почти два года, безлюдная, тихая и вся в деревьях. Деревья на бульваре и около тротуаров – старые и развесистые. Теперь они шумят сухой листвою; ветер гонит облака пыли и качает их из стороны в сторону... А пять месяцев тому назад, в теплые апрельские дни, они кудрявились нежной, мелкой зеленью, голубое небо сияло между их вершинами, и я бродил под ними по мягкой, влажной земле, чему-то радуясь!

Пять месяцев... И мне хочется твердо и определенно сказать себе, что я очень глупо провел эти пять месяцев. Убедить себя в этом мне тем легче, что я не только не люблю Зины теперь, но даже со стыдом вспоминаю все, что говорил ей.

В марте образовался у нас «музыкально-драматический кружок», и я сам написал об этом событии корреспонденцию в «Летопись Юга». Корреспонденции увеличивают мое жалованье в земской управе рублей на восемь, на десять в месяц, и я аккуратно сообщаю в «Летопись» обо всех выдающихся городских событиях. С кривой улыбкой я пишу газетным жаргоном о положении народной столовой и чайной, о полковых праздниках и дамском благотворительном кружке, о доме трудолюбия, где бедные старики и старухи, измученные и обездоленные жизнью, обречены под конец этой жизни выполнять идиотскую работу – трепать, например, мочало... Пишу о том, что сельскохозяйственное общество «заслушало» и «передало в комиссию» чрезвычайно любопытный доклад под заглавием: «К вопросу об урегулировании свиноводства», и тут же добавляю, что «нельзя не отметить и другого отрадного факта: в среде местного интеллигентного общества, по инициативе супруги начальника губернии, возникла благая мысль организовать в нашем богоспасаемом городке кружок с целью проведения в жизнь и доставления публике здоровых и разумных развлечений...». С той же улыбкой я отправился и в дворянский клуб, на один из вечеров «кружка», в качестве скрипача, участвующего в концерте.

Утомленный однообразной зимней жизнью – службой, обедами в кухмистерской и скучными вечерами в своей студенческой комнатке, где всегда пахнет дешевым глицериновым мылом и где вся мебель состоит из стола, кровати, двух-трех стульев и плетеной корзины, – я был возбужден клубом. Я был доволен, что меня знакомят с семьями вице-губернатора и председателя суда, с чиновниками особых поручений и с богатым молодым помещиком Вечесловым, который так хорошо играет в любительских спектаклях... Все они такие свежие, бодрые, и

все хотят незаметно обласкать тебя... В клубе – светло, просторно, зеркала, бархатная мебель, пахнет дорогим табаком, и оживленно идет говор. А главное, я не чувствую себя лишним на этот раз: я сыграл, как настоящий скрипач, одну вещь грустную, нежную, похожую на колыбельную песенку, а другую – бойкую, в темпе мазурки, с резкими ударами смычка, – исполнил все, что полагается, и был одобрен... Вот тут-то и состоялось мое знакомство с Соймоновыми.

Все они мне понравились: и сам доктор, пожилой человек, похожий на помещика, с одышкой, и его жена, болтливая, молодящаяся дама, и ее падчерица, Зина, высокая девушка с темно-синими глазами и длинными ресницами.

– Зиновья, матушка! Что это ты сидишь такая сонная? – сказал Александр Данилыч, подводя меня к дочери. – Я вот тебе еще жениха привел. Сергей Николаевич Ветвицкий.

– Ну, садитесь и рассказывайте, – проговорила Зина. Она улыбнулась и подняла ресницы, но только на мгновение перевела глаза на меня, а потом снова стала равнодушно глядеть в сторону, сидя прямо и машинально играя веером.

Я спросил:

– С чего начать прикажете?

– В качестве жениха – с того, кто вы такой, откуда? «Имя, родина, родные?»

– Зовусь Магометом я, – сказал я с шутливой грустью.

– Полюбив, мы умираем? – добавила Зина.

Потом пристально и задумчиво посмотрела на меня.

– Вы не декадент? – спросила она.

– Почему? – ответил я, невольно смущаясь от ее взгляда.

– Да так... про вас ходят слухи, что вы нелюдим, гордец... потом у вас такое лицо...

– Какое? – спросил я живо.

– Больное, – ответила Зина, подумав. – Вы больны?

Я посмотрел на ее глаза и губы, на все ее красивое тело высокой и уже вполне развившейся девушки, услышал запах ее духов...

– Болен, – ответил я шутливо, с болью чувствуя все обаяние ее.

– Чем?

– Жаждой того, чего у меня нет, – сказал я. – А хочу я многого... Любви, здоровья, крепости духа, денег, деятельности...

К удивлению моему, она, помолчав, быстро и серьезно ответила:

– Я очень понимаю вас. У меня тоже ничего нет. Только не нужно говорить об этом...

Я хотел что-то возразить, но удержался и только с радостью почувствовал, что между нами уже установилась какая-то тонкая связь.

– Ну, а почему же вы думаете, что я гордец и нелюдим? – спросил я.

– Потому что у вас очень надменный и грустный взгляд, – сказала Зина. – Мне кажется, что вы никогда никого не любили и что вы большой эгоист.

Я был задет за живое, но опять сдержал себя и стал говорить полушутливым тоном:

– Может быть... Кого любить? За что?

– Виновата, – вдруг сказала Зина. – Мне нужно подойти к тетушке.

И она с приветливой и радостной улыбкой пошла навстречу старухе, сопровождаемой белокурым и женственным молодым человеком, – старухе с лошадиным лицом и совиными глазами, которые посмотрели на меня очень удивленно. Я, как истый пролетарий, опять почувствовал себя лишним и надулся. А когда Зина вернулась ко мне, начал притворно-лениво и очень некстати глумиться над жандармским полковником, над любительницей-певицей, пожилой, некрасивой и сильно декольтированной девушкой, над виолончелистом...

– Посмотрите, – говорил я, – какой он маленький, плюгавый. Лицо – конфетное, но зато волосы совсем как у Рубинштейна...

– А это кто, не знаете? – продолжал я, все более раздражаясь и все более желая вовлечь ее в разговор. – Вот тот пожилой господин с артистической наружностью и лицом алкоголика? Посмотрите, как у него запухли глаза и как он смотрит всегда – точно сонный, с холодным презрением. Это настоящий клубный посетитель, и про него непременно говорят, что он – умница, золотая голова, только спился, опустился и должен всем...

– Это Алексей Алексеевич Бахтин, мой дядя, – ответила Зина с неловкой улыбкой.

III

Таков был первый вечер. Однако я часто начал бывать у Соймоновых, и Зина сперва радовалась мне. Мы даже говорили друг другу, что мы – большие друзья, но что-то мешало нашей дружбе: общее у нас было одно – жажда жизни, – в остальном мы были чужды друг другу. Это я чувствовал больше всего, когда у Соймоновых собирались гости. Наши разговоры, – даже наедине, – не удовлетворяли меня. Наступили апрельские дни, мне хотелось куда-нибудь за город, в степь... Но она неизменно отвечала:

– Я вовсе не хочу, чтобы мы сделались басней города. Вот соберемся как-нибудь компанией. Вы ведь все равно знаете, что я только для вас поеду.

И я ограничивался тем, что провожал ее в лавки или в народную чайную, где она, в числе других дам-благотворительниц, дежурила по пятницам. А вечером я один уходил за город, к вокзалу за реку или в городской сад, где еще не началась летняя ресторанная жизнь.

По вечерам в саду совсем никого не было. Чистый весенний воздух холодел, в пустынном, еще черном саду казалось, что стоит ясный октябрьский вечер. Только звезды по-весеннему ласково теплились над вершинами деревьев и соловьи в чащах пробовали свои голоса. Резко пахло пробивавшейся из земли травой и самой землею – холодной и влажной... Дома же я до поздней ночи играл у раскрытого окна на скрипке, и скрипка звонко и жалобно пела в лад с моим сердцем.

Потом было одно время, когда Зина резко изменилась ко мне. В середине мая подготовительные управские работы к экстренному собранию не позволяли мне ходить к Соймоновым. И вот как-то в воскресенье я сидел в своей комнате и спешил окончить кое-какие статистические выкладки. С самого утра перепадал теплый, золотой дождик, и обмытая им майская зелень, и самый воздух, казалось, молодели от него. Гром рокотал то в той, то в другой стороне, но поминутно, между клубами дымчатых и белых облаков, вздымавшихся по небу, сияла яркая лазурь и выглядывало жаркое солнце. Я засмотрелся в окно, на голубые лужи под деревьями, как вдруг мимо окна быстро прошла Зина. С минуту я сидел неподвижно, изумленный ее появлением, потом схватил шляпу и кинулся на улицу... Ах, какой это был славный день!

– Мне было грустно без вас, – говорила Зина, смущенно улыбаясь, – я сама, наконец, решила идти к вам.

И я в упоении целовал ее душистые руки с колючими перстнями и не знал, что сказать ей, от счастья...

А потом я не знал, что сказать, от сомнений. Я по целым ночам обдумывал на тысячи ладов, что может выйти из моего брака с Зиной. «Мы разные люди, – думал я, – она даже малоинтеллигентна. Наконец, у нее ничего нет, и куда я возьму ее? В эту комнату?»

И потянулись томительные вечера, которые я неизменно проводил у Соймоновых... Да и любил ли я ее?

Помню, в один холодный и дождливый вечер мне было особенно скучно. Зина что-то шила, я перелистывал журнал, нашел чье-то стихотворение:

Укор ли нам неся, прощальный ли привет,
Как дальних волн прибой, осенний ветер стонет...

– Не правда ли, хорошо? – спросил я, прочитав эти две строки.

– Да, красиво, – ответила Зина.

– А по-моему, – сказал Александр Данилыч, – все это собачья старость и больше ничего. Зина звонко расхохоталась...

А тут у Соймоновых почти каждый день начал бывать помощник присяжного поверенного Богаут, молодой человек, здоровый и жизнерадостный, как немец, всегда и со всеми любезный и ласковый. Я же стал проводить вечера в обществе Елены, милой и простой девушки из духовного звания. Мы ели с ней колбасу, пили чай, слушали у окна музыку военного оркестра, доносившуюся из сада, и говорили о марксистах и народниках... О чем ином мы могли говорить с ней? Что-то очень милое было в ее простом, русском лице, что-то трогательное было в ее открытом взгляде и в том, как она, доставая из кармана юбки роговую гребеночку, причесывала свои стриженные волосы на косой ряд. Но я уже замечал, что она мою товарищескую нежность и нашу выдумку говорить на «ты» начинает принимать за любовь. Я смеялся и над марксистами, и над народниками, говорил, что я мог бы стать общественным человеком только при исключительных условиях, – например, если бы настали дни настоящего общественного подъема, – или если бы я сам хоть немного был счастлив лично... Она смотрела на меня в такие минуты пристально, жадно и, увлекаясь страстностью моих слов о личном счастье, о тоске существования среди поголовного мещанства, говорила задумчиво и убежденно:

– Ты не понимаешь самого себя...

IV

В надежде, что она придет как раз в мое отсутствие, я отправляюсь в кухмистерскую обедать.

В самом деле, какой скучный день! Прохожих мало, белые каменные дома в пыли. Ветер несет по мостовой эту белесую пыль и шуршит на бульварах тощими и почерневшими акациями... Вот присутственные места на площади, вот главная улица. Тут больше прохожих и проезжих; возле магазинов экипажи... Мне же все кажется, что в городе – праздник, потому что Зина вчера повенчалась и сегодня делает с мужем визиты... Шибко прокатил на паре серых, бойких и злых лошадей полицеймейстер. Пристяжная круто отвернула от коренника голову, полицеймейстер весело оглядывается, по-офицерски заложив руки в карманы. Это он к Соймоновым, должно быть... И я бессознательно прибавляю шаг; сердце забилося сильнее, и тянет еще раз взглянуть на их дом...

Но зачем?

И, преодолев себя, я сворачиваю на тихую Старо-Замковую улицу, где уже второй год обедаю в польской «кондитерской».

Я быстро подошел к дверям – и внезапно струсил. А если тут Елена? Ведь часто случилось, что мы обедали вместе. Может случиться и сегодня...

В нерешимости я прошел мимо окон, заглянул в столовую. В столовой пусто, значит, можно идти смело...

Но невеселые мысли и тут преследовали меня.

Знаете вы этих забитых трудом и бедностью старушек, которые встречаются иногда на улицах, в кухмистерских и присутственных местах в дни выдачи пенсий? Почему-то все они маленького роста, ходят в стареньких бурнусах и убогих шляпках, смотрят на все робкими, недоумевающими глазами и возбуждают мучительную жалость своим покорным видом... Как нарочно, и сегодня одна из них тут.

Я старался глядеть только в тарелку, но не мог забыть о своей соседке. «Верно, – думалось мне, – она дает уроки языков или музыки, живет одна в чистой комнатке, где горит лампадка в часы ее недолгого отдыха, когда темнеет субботний вечер и тихо реет над городом звон ко всенощной... Чувствует ли она, как горько на старости лет, без семьи, без близких, отдыхать только в субботний вечер? Знает ли она, как тяжело глядеть на нее, когда плетется она в своем старом бурнусе с урока в кухмистерскую или вечером в лавочку за осьмушкой чаю?»

Дома я усердно принимаюсь за уборку вещей в дорогу. Но какие же у меня вещи?

Я открыл корзинку, в которой в беспорядке навалено белье, выдвинул из-под кровати чемодан с письмами, бумагами и нотами – и опустил руки.

Тут все мои воспоминания. Этот чемодан – мой старый товарищ. В первый раз он отправился со мной в путешествие еще тогда, когда я только что «вступал в жизнь», ехал на юг в университетский город.

Удивительно живо помню я эти дни в пути! Помню даже, как смотрелся в зеркало на вокзале в Курске и думал, что похож на Шопена; помню, как по вагону ходили полосы света и тени – от яркого мартовского солнца и клубов дыма, плывущих мимо окон. Снежные поля блестели золотой слюдой, сияющая даль манила к югу, к чему-то молодому и веселому... А потом – большой, шумный город, весна, во всем что-то нежное, легкое, южное... Северный уездный городок, где осталась моя семья, разорившаяся помещичья семья, был от меня далеко, и я не понимал тогда, что потерял последнюю связь с родиной. Разве есть у меня теперь родина? Если нет работы для родины, нет и связи с нею. А у меня нет даже и этой связи с родиной – своего угла, своего пристанища... И я быстро постарел, выветрился нравственно и физически, стал бродягой в поисках работы для куска хлеба, а свободное время посвятил меланхолическим

размышлениям о жизни и смерти, жадно мечтая о каком-то неопределенном счастье... Так сложился мой характер и так просто прошла моя молодость.

Собственно говоря, и вспоминать-то нечего. А все-таки при взгляде на этот истрепанный чемодан я опускаю руки, подавленный воспоминаниями. Каждый раз, как мне приходится укладывать в него мой скarb, я говорю себе: вот еще невозвратно прошло столько-то лет; еще часть моей жизни оторвана... И мне больно говорить это себе. Вспоминаются один за другим дни, проведенные в этой комнате, – дни, полные неопределенных, часто сладких надежд и мечтаний. Вспоминаются и далекие дни, те, что уже в тумане. О них говорят связки писем. Вот письма родных, которые где-то там, на севере, все еще ждут меня к праздникам и грустят обо мне с нежною любовью, как о мальчике... Вот письма первой любви, первых товарищей... И при взгляде на каждое из них у меня сжимается сердце.

Резкий звонок заставил меня быстро вскочить с кресла и кинуться к шляпе. Елена! И я заметался по комнате, готовый даже выпрыгнуть в окошко. А между тем уже слышен ее голос: – Дома Ветвицкий?

Я распахнул дверь, пробежал через кухню, а оттуда – по двору к калитке...

V

До позднего вечера я бродил за городом.

Кругом было поле, безжизненное, унылое. Наплывали угрюмые тучи, ветер усиливался, и сухой бурьян летел по пашням в неприветную, темную даль. И на душе у меня становилось тоже все темнее и темнее.

В смутном, волнующемся сумраке городского сада я сидел под старыми деревьями на забытой скамейке. Вот где, думалось мне, уныние теперь – на кладбище! Разве в смерти есть что-нибудь ужасное, сильное? Смерть – ничто, пустота. И только одним этим и пугает нас смерть. И на кладбище так же: сумерки, ни души кругом; могилы и могилы, заросшие травой; трава теперь высохла, пожелтела и тихо шелестит от ветра...

«А где Елена?» – приходило мне иногда в голову.

Я вдруг вспоминаю чью-то легенду о ветре и душах повесившихся людей и в испуге поднимаюсь со скамьи. Зачем я так скверно спрятался от нее? Зачем не поговорил с ней? Но что же я мог сказать ей? Это все равно, что мне отправиться сейчас к Зине...

Я опять сажусь и пристально гляжу в одну точку, стараясь охватить то, что творится в моей душе.

Звезды в мутном небе светят бледно и сумрачно. Ветер поднимает пыль на дорожках почти темного сада, и с деревьев сыплется листья. Точно напряженный шепот, не смолкает надо мною порывисто усиливающийся шум и шелест деревьев. А когда ветер, как дух, как живой, убегает, кружась, в дальние аллеи, старые тополи гудят там так угрюмо, жутко...

Когда я наконец решил вернуться домой, была уже ночь. Подавленный тоской, подгоняемый ветром, я бессильно брел по улицам. Вот и наш домишко ярко светит окнами в черном мраке под деревьями. Кругом шум ветра и листьев, а там тихо, и сухие ветки плюща сонно качаются над окном моей комнаты. В ней, за стеклами, спокойным, ровным светом горит лампа... Зачем я еду? Кто гонит меня в эту даль, где полутемный поезд, одинокая ночь и долгий замирающий стон паровоза?

В страхе я остановился.

– Елена! – хотелось крикнуть мне.

И, точно угадав мое желание, она неслышно вышла из темноты под деревьями.

– Можно к тебе? – спросила она деревянным голосом.

Я растерялся, смущенно пробормотал:

– Конечно... Конечно, можно...

В темноте я долго не мог попасть ключом в замочную скважину, наконец отворил дверь и неестественно-шутливо проговорил:

– Прошу!

– Я только на минутку, – ответила она сухо, входя в комнату и не глядя на меня.

Я подвинул ей кресло, сел против нее и взял ее за руку.

– Снимай, – сказал я ласково, указывая глазами на перчатку, – посиди у меня.

Она взглянула на меня, улыбнулась, но вдруг губы ее дрогнули и на глазах показались слезы.

– Елена! – сказал я укоризненно.

Она не ответила. Я повторил свои слова, но уже без нежности и пожал плечами.

– Елена! – снова начал я с раздражением. – Надо же взять себя в руки, – прибавил я, чувствуя, что говорю глупости.

Она упорно молчала. Зубы ее были стиснуты, в голубых глазах, пристально устремленных на огонь, стояли слезы.

Я с шумом отодвинул кресло, быстро застегнул на все пуговицы пиджак и, заложив руки в карманы, заходил по комнате. Но, повернув раза два или три, снова бросился в кресло и, прикрыв глаза, спросил с холодной насмешливостью:

– Что же тебе угодно от меня?

Она быстро и удивленно взглянула на меня, хотела что-то сказать, но вдруг закрыла лицо руками и разразилась громкими рыданиями. И, рыдая, комкая к глазам платок, заговорила отрывистым, резким голосом:

– Ты не смеешь так говорить!.. Как ты... смеешь... когда я... так... относилась к тебе? Ты обманывал меня...

– Зачем ты врешь? – перебил я ее. – Ты отлично знаешь, что я относился к тебе по-дружески. Но я не хочу вашей мещанской любви... Оставьте меня в покое!

– А я не хочу твоей декадентской дружбы! – крикнула Елена и отняла платок от глаз. – Зачем ты ломался? – заговорила она твердо, сдерживая рыдания и глядя на меня в упор с ненавистью. – Почему ты вообразил, что мной можно было играть?

Я опять резко перебил ее:

– Ты с ума сошла! Когда я играл тобою? Мы оба одиноки, оба искали поддержки друг в друге, – и, конечно, не нашли, – и больше между нами ничего не было.

– А, ничего! – снова крикнула Елена злобно и радостно. – Какой же такой любви вам угодно? Почему ты даже мысли не допускаешь равнять меня с собою? Я одна, меня ждет ужасная жизнь где-нибудь в сельском училище, я мелкая общественная единица, но я лучше тебя. А ты? Ты даже вообразить себе не можешь, как я вас ненавижу всех – неврастеников, эгоистов! Все для себя! Все ждете, что ваша ничтожная жизнь обратится в нечто необыкновенное!

– Да! – сказал я со злобою, подымаясь. – Я люблю жизнь, безнадежно люблю! Мне дана только одна жизнь, и та на какие-нибудь пятьдесят лет, из которых пятнадцать ушло на детство и четверть уйдет на сон. И при этом я никогда не знал счастья! Смешно, не правда ли?

Но Елена опять прижала платок к глазам и зарыдала с новой силой.

– И поэтому ты... – заговорила она гадливо. – И потому ты сегодня так низко и спрятался от меня? Ты опять лжешь, чтобы закрыться пышными фразами...

Я с невероятной быстротой схватил пресс-папье и со всего размаху ударил им по столу.

– Уйди! – крикнул я бешено.

И мгновенно похолодел от ужаса за сделанное. Я увидел, как Елена вскочила, сразу обрвав рыдания, и лицо ее перекошилось от детского страха.

– Уйди! – закричал я опять, но уже другим, жалким голосом.

Она распахнула дверь, и ветер, как шалый, со стуком рванул к себе раму, с шелестом и шумом деревьев ворвался в комнату и мгновенно вырвал свет из лампы. Я упал на постель, уткнулся лицом в подушку и заскрежетал зубами, упиваясь своей скорбью и своим отчаяньем. Тополи гудели и бушевали во мраке...

1897

Поздней ночью

Был ли это сон или час ночной таинственной жизни, которая так похожа на сновидение? Казалось мне, что осенний грустный месяц уже давным-давно плывет над землей, что наступил час отдыха от всей лжи и суеты дня. Казалось, что уже весь, до последнего нищенского угла заснул Париж. Долго спал я, и наконец медленно отошел от меня сон, как заботливый и неторопливый врач, сделавший свое дело и оставивший больного уже тогда, когда он вздохнул полной грудью и, открыв глаза, улыбнулся застенчивой и радостной улыбкой возвращения к жизни. Очнувшись, открыв глаза, я увидел себя в тихом и светлом царстве ночи.

Я неслышно ходил по ковру в своей комнате на пятом этаже и подошел к одному из окон. Я смотрел то в комнату, большую и полную легкого сумрака, то в верхнее стекло окна на месяц. Месяц тогда обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо. Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. Отсюда месяца не было видно. Но все четыре окна были озарены ярко, как и то, что было возле них. Месячный свет падал из окон бледно-голубыми, бледно-серебристыми арками, и в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озаренным креслам и стульям. И в кресле у крайнего окна сидела та, которую я любил, – вся в белом, похожая на девочку, бледная и прекрасная, усталая ото всего, что мы пережили и что так часто делало нас злыми и беспощадными врагами.

Отчего она тоже не спала в эту ночь?

Избегая глядеть на нее, я сел на окно, рядом с ней... Да, поздно – вся пятиэтажная стена противоположных домов темна. Окна там чернеют, как слепые глаза. Я заглянул вниз, – узкий и глубокий коридор улицы тоже темен и пуст. И так во всем городе. Только бледный сияющий месяц, слегка наклоненный, катится и в то же время остается недвижимым среди дымчатых бегущих облаков, одиноко бодрствуя над городом. Он глядел мне прямо в глаза, светлый, но немного на ущербе и оттого – печальный. Облака дымом плыли мимо него. Около месяца они были светлы и таяли, дальше стучались, а за гребнем крыш проходили уже совсем угрюмой и тяжелой грядой...

Давно не видал я месячной ночи! И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал и полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря. Вот – хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот – редкие леса, болота и перелески, ниже которых, к югу, начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них – старый, серый помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете... Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату, который видел меня потом юношей и который грустит теперь вместе со мной о моей неудавшейся молодости? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи...

– Отчего ты не спишь? – услышал я робкий голос.

И то, что она первая обратилась ко мне после долгого и упорного молчания, больно и сладко кольнуло мне в сердце. Я тихо ответил:

– Не знаю... А ты?

И опять мы долго молчали. Месяц заметно опустился к крышам и уже глубоко заглядывал в нашу комнату.

– Прости! – сказал я, подходя к ней.

Она не ответила и закрыла глаза руками.

Я взял ее руки и отвел их от глаз. По щекам ее катились слезы, а брови были подняты и дрожали, как у ребенка. И я опустил у ее ног на колени, прижался к ней лицом, не сдерживая ни своих, ни ее слез.

– Но разве ты виноват? – шептала она смущенно. – Разве не я во всем виновата?

И улыбалась сквозь слезы радостной и горькой улыбкой.

А я говорил ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой мы должны жить на земле. Мы опять любили друг друга, как могут любить только те, которые вместе страдали, вместе заблуждались, но зато вместе встречали и редкие мгновения правды. И только бледный, грустный месяц видел наше счастье...

1899

В августе

Уехала девушка, которую я любил, которой я ничего не сказал о своей любви, и так как мне шел тогда двадцать второй год, то казалось, что я остался один во всем свете. Был конец августа; в малорусском городе, где я жил, стояло знойное затишье. И когда однажды в субботу я вышел после работы от бондаря, на улицах было так пусто, что, не заходя домой, я побрел куда глаза глядят за город. Шел я по тротуарам мимо закрытых еврейских магазинов и старых торговых рядов; в соборе звонили к вечерне, от домов ложились длинные тени, но было еще так жарко, как бывает в южных городах в конце августа, когда даже в садах, жарившихся на солнце целое лето, все покрыто пылью. Мне было тоскливо, несказанно тоскливо, а вокруг меня все замирало от полноты счастья, – в садах, в степи, на баштанах и даже в самом воздухе и густом солнечном блеске.

На пыльной площади у водопровода стояла красивая большая хохлушка в расшитой белой сорочке и черной плахте, плотно обтягивавшей ей бедра, в башмаках с подковками на босую ногу. Было в ней что-то общее с Венерой Милосской, если только можно вообразить себе Венеру загорелой, с карими веселыми глазами и с такой ясностью чела, которая бывает, кажется, только у хохлушек и полек. Наполнив ведра, она положила коромысло на плечо и пошла прямо навстречу мне, – стройная, несмотря на тяжесть плескавшейся воды, слегка покачивая станом и постукивая башмаками по деревянному тротуару... И помню, как почтительно я посторонился, давая ей дорогу, и как долго смотрел за нею! А в улицу, которая шла с площади под гору, на Подол, видна была огромная, мягко синеющая долина реки, луга, леса, смуглые золотистые пески за ними и даль, нежная южная даль...

Кажется, никогда не любил я так Малороссию, как в ту пору, никогда не хотел так жить, как в ту осень, а между тем толковал я тогда только о борьбе с жизнью, учился только бондарному ремеслу. И теперь, постояв на площади, я решил отправиться в гости к толстовцам, за город. Спускаясь под гору на Подол, я встретил много парных извозчиков, которые шибко везли пассажиров с пятичасового поезда из Крыма. Огромные ломовые лошади медленно тащили в гору гремящие телеги с ящиками и тюками, и запах москательных товаров, ванили и рогожи, извозчики, пыль и люди, которые ехали откуда-то, где должно быть хорошо, – все опять заставило мое сердце сжаться от каких-то мучительно-тоскливых и сладких стремлений. Я свернул в тесный переулочек между садами и долго шел по предместью. «Панычи» этого предместья, мастеровые и мещане, дико и чудесно «гукáли» в летние ночи по долине да пели хорами на церковный лад красивые и печальные казацкие песни. Теперь «панычи» молотили. На окраине, там, где голубые и белые мазанки стояли уже на леваде, при начале долины, мелькали на токах цепы. Но в затишье долины было жарко так же, как в городе, и я поспешил возвратиться на гору, в открытую, ровную степь.

Тихо, покойно и просторно было там. Вся степь, насколько хватал глаз, была золотая от густого и высокого жнивья. На широком, бесконечном шляхе лежала глубокая пыль: казалось, что идешь в бархатных башмаках. И все вокруг – и жнивья, и дорога, и воздух – сияло от низкого вечернего солнца. Прошел черный от загара, пожилой хохол в тяжелых сапогах, в бараньей шапке и толстой свитке цвета ржаного хлеба, и палка, которой он попирался, блестела на солнце, как стеклянная. Крылья грачей, перелетавших над жнивьями, тоже блестели и лоснились, и нужно было закрываться полями жаркой шляпы от этого блеска и зноя. Далеко, почти на горизонте, можно было различить телегу и пару волов, которые медленно влекли ее, да шалаш сторожа на бахчах... Ах, славно было среди этой тишины и простора! Но всю душу мою тянуло к югу, за долину, в ту сторону, куда уехала она...

В полуверсте от дороги, над долиной, краснела черепичная кровля маленького хутора, – поместье толстовцев, братьев Павла и Виктора Тимченков. И я пошел туда по сухому, кол-

кому жнивью. Вокруг хаты было пусто. Я заглянул в окошечко – там гудели одни мухи, гудели целыми роями: на стеклах, под потолком, в горшках, стоявших на лавках. К хате был пристроен скотник; и там не оказалось никого. Ворота были открыты, и солнце сушило двор, заваленный навозом...

– Вы куда? – внезапно окликнул меня женский голос.

Я обернулся: на обрыве над долиной, на меже бахчи, сидела жена старшего Тимченки, Ольга Семеновна. Не вставая, она подала мне руку, и я сел с ней рядом.

– Скучно? – спросил я, помолчав и глядя ей прямо в лицо.

Она опустила глаза на свои босые ноги. Маленькая, загорелая, в грязной рубаше и старенькой плахте, она была похожа на девочку, которую послали стеречь баштаны и которая грустно проводила долгий солнечный день. И лицом она была похожа на девочку-подростка из русского села. Однако я никак не мог привыкнуть к ее одежде, к тому, что она босыми ногами ходит по навозу и колкому жнивью, даже стыдился смотреть на эти ноги. Да она и сама все поджимала их и часто искоса поглядывала на свои испорченные ногти. А ноги были маленькие и красивые.

– Муж ушел на леваду молотить, – сказала она, – а Виктор Николаевич уехал... Павловского опять арестовали за отказ от солдатчины. Вы помните Павловского?

– Помню, – сказал я машинально.

И мы смолкли и долго смотрели на синеву долины, на леса, пески и меланхолично зовущую даль. Солнце еще грело нас; круглые, тяжелые арбузы лежали среди длинных пожелтевших плетей, перепутанных, как змеи, и тоже грелись.

– Отчего вы не откровенны со мной? – начал я. – Зачем вы насилуете себя? Вы любите меня.

Она съежилась, подобрала ноги и прикрыла глаза; потом сдунула волос, упавший на щеку, и с решительной улыбкой сказала:

– Дайте мне папироску.

Я дал. Она затянулась раза два, закашлялась, далеко бросила папиросу и задумалась.

– Я с самого утра так сижу, – сказала она. – Куры приходят с самой левады расклевывать арбузы... И не знаю, почему вам кажется здесь скучно. Мне очень нравится здесь, очень...

Над долиной, верстах в двух от хутора, куда я приехал на закате, я сел, снял шляпу... Сквозь слезы я смотрел вдаль, и где-то далеко мне грезились южные знойные города, синий степной вечер и образ какой-то женщины, который сливался с девушкой, которую я любил, но дополнял ее своею таинственностью и той детской печалью, которая была в глазах маленькой женщины на баштанах...

1901

Осенью

I

В гостиной наступило на минуту молчание, и, воспользовавшись этим, она встала с места и как бы мельком взглянула на меня.

– Ну, мне пора, – сказала она с легким вздохом, и у меня дрогнуло сердце от предчувствия какой-то большой радости и тайны между нами.

Я не отходил от нее весь вечер и весь вечер ловил в ее глазах затаенный блеск, рассеянность и едва заметную, но какую-то новую ласковость. Теперь в тоне, каким она как бы с сожалением сказала, что ей пора уходить, мне почудился скрытый смысл, – то, что она знала, что я выйду с нею.

– Вы тоже? – полуутвердительно спросила она. – Значит, вы проводите меня, – прибавила она вскользь и, слегка не выдержав роли, улыбнулась, оглядываясь.

Стройная и гибкая, она легким и привычным движением руки захватила юбку черного платья. И в этой улыбке, в молодом изящном лице, в черных глазах и волосах, даже, казалось, в тонкой нитке жемчуга на шее и блеске брильянтов в серьгах – во всем была застенчивость девушки, которая любит впервые. И пока ее просили передать поклоны ее мужу, а потом помогали ей в прихожей одеваться, я считал секунды, боясь, что кто-нибудь выйдет с нами.

Но вот дверь, из которой на мгновение упала в темный двор полоса света, мягко захлопнулась. Подавляя нервную дрожь и чувствуя во всем теле необычную легкость, я взял ее руку и заботливо стал сводить с крыльца.

– Вы хорошо видите? – спросила она, глядя под ноги.

И в голосе ее опять послышалась поощряющая приветливость.

Я, наступая на лужи и листья, наугад повел ее по двору, мимо обнаженных акаций и укусных деревьев, которые гулко и упруго, как корабельные снасти, гудели под влажным и сильным ветром южной ноябрьской ночи.

За решетчатыми воротами светился фонарь экипажа. Я взглянул ей в лицо. Не отвечая, она взяла своей маленькой, узкой от перчатки рукой железный прут ворот и без моей помощи откинула половину их в сторону. Поспешно прошла она к экипажу и села в него, так же быстро сел и я рядом с нею...

II

Мы долго не могли сказать ни слова. То, что тайно волновало нас последний месяц, было теперь сказано без слов, и мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно и неожиданно. Я прижал ее руку к своим губам и, взволнованный, отвернулся и стал пристально глядеть в сумрачную даль бегущей навстречу нам улицы. Я еще боялся ее, и когда на мой вопрос, – не холодно ли ей, – она только со слабой улыбкой шевельнула губами, не в силах ответить, я понял, что и она боится меня. Но на пожатие руки она ответила благодарно и крепко.

Южный ветер шумел в деревьях на бульварах, колебал пламя редких газовых фонарей на перекрестках и скрипел вывесками над дверями запертых лавок. Иногда какая-нибудь сторбленная фигура вырастала вместе с своею шаткою тенью под большим качающимся фонарем таверны, но исчезал фонарь за нами – и опять на улице было пусто, и только сырой ветер мягко и непрерывно бил по лицам. Из-под колес брызгами сыпалась в разные стороны грязь, и она, казалось, с интересом следила за ними. Я взглядывал иногда на ее опущенные ресницы и склоненный под шляпой профиль, чувствовал всю ее так близко от себя, слышал тонкий запах ее волос, и меня волновал даже гладкий и нежный мех соболя на ее шее...

Потом мы свернули на широкую, пустую и длинную улицу, казавшуюся бесконечной, миновали старые еврейские ряды и базар, и мостовая сразу оборвалась под нами. От толчка на новом повороте она покачнулась, и я невольно обнял ее. Она взглянула вперед, потом обернулась ко мне. Мы встретились лицом к лицу, в ее глазах не было больше ни страха, ни колебания, – легкая застенчивость сквозила только в напряженной улыбке, – и тогда я, не сознавая, что делаю, на мгновение крепко прильнул к ее губам...

III

В темноте мелькали высокие силуэты телеграфных столбов вдоль дороги, – наконец пропали и они, свернули куда-то в сторону и скрылись. Небо, которое над городом было черно и все-таки отделялось от его слабо освещенных улиц, совершенно слилось здесь с землею, и нас окружил ветренный мрак. Я оглянулся назад. Огни города тоже исчезали, – они были рассыпаны точно где-то в темном море, – а впереди мерцал только один огонек, такой одинокий и отдаленный, точно он был на краю света. То была старая молдаванская корчма на большой дороге, и оттуда несло сильным ветром, который путался и торопливо шуршал в иссохших стеблях кукурузы.

– Куда мы едем? – спросила она, сдерживая дрожь в голосе.

Но глаза ее блестели, – наклонившись к ней, я различал их в темноте, – и в них было странное и вместе с тем счастливое выражение.

Ветер торопливо шуршал и бежал, путаясь в кукурузе, лошади быстро неслись ему навстречу. Снова куда-то мы свернули, и ветер сразу изменился, стал влажнее и прохладнее и еще беспокойней заметался вокруг нас.

Я полной грудью вдыхал его. Мне хотелось, чтобы все темное, слепое и непонятное, что было в этой ночи, было еще непонятнее и смелее. Ночь, которая казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь, в поле, совсем иная. В ее темноте и ветре было теперь что-то большое и властное, – и вот наконец послышался сквозь шорох бурьянов какой-то ровный, однообразный, величавый шум.

– Море? – спросила она.

– Море, – сказал я. – Это уже последние дачи.

А в побледневшей темноте, к которой мы пригляделись, вырастали влево от нас огромные и угрюмые силуэты тополей в дачных садах, спускавшихся к морю. Шорох колес и топот копыт по грязи, отдаваясь от садовых оград, на минуту стал явственнее, но скоро их заглушил приближающийся гул деревьев, в которых метался ветер, и шум моря. Промелькнуло несколько наглухо забитых домов, смутно белевших в темноте и казавшихся мертвыми... Потом тополи расступились, и внезапно в пролет между ними пахнуло влажностью – тем ветром, который прилетает к земле с огромных водяных пространств и кажется их свежим дыханием.

Лошади остановились.

И тотчас же ровный и величавый ропот, в котором чувствовалась огромная тяжесть воды, и беспорядочный гул деревьев в беспокойно дремавших садах стали слышнее, и мы быстро пошли по листьям и лужам, по какой-то высокой аллее, к обрывам.

IV

Море гудело под ними грозно, выделяясь из всех шумов этой тревожной и сонной ночи. Огромное, теряющееся в пространстве, оно лежало глубоко внизу, далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гривами пены. Страшен был и беспорядочный гул старых тополей за оградой сада, мрачным островом выроставшего на скалистом побережье. Чувствовалось, что в этом безлюдном месте властно царит теперь ночь поздней осени, и старый большой сад, забитый на зиму дом и раскрытые беседки по углам ограды были жутки своей заброшенностью. Одно море гудело ровно, победно и, казалось, все величавее в сознании своей силы. Влажный ветер валил с ног на обрыве, и мы долго не в состоянии были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей свежестью. Потом, скользя по мокрым глинистым тропинкам и остаткам деревянных лестниц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной прибою. Ступив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону от волны, разбившейся о камни. Высились и гудели черные тополи, а под ними, как бы в ответ им, жадным и бешеным прибоем играло море. Высокие, долетающие до нас волны с грохотом пушечных выстрелов рушились на берег, крутились и сверкали целыми водопадами снежной пены, рыли песок и камни и, убегая назад, увлекали спутанные водоросли, ил и гравий, который гремел и скрежетал в их влажном шуме. И весь воздух был полон тонкой, прохладной пылью, все вокруг дышало вольной свежестью моря. Темнота бледнела, и море уже ясно видно было на далекое пространство.

– И мы одни! – сказала она, закрывая глаза.

V

Мы были одни. Я целовал ее губы, упиваясь их нежностью и влажностью, целовал глаза, которые она подставляла мне, прикрывая их с улыбкой, целовал похолодевшее от морского ветра лицо, а когда она села на камень, стал перед нею на колени, обессиленный радостью.

– А завтра? – говорила она над моей головой.

И я поднимал голову и смотрел ей в лицо. За мною жадно бушевало море, над нами высились и гудели тополи...

– Что завтра? – повторил я ее вопрос и почувствовал, как у меня дрогнул голос от слез непобедимого счастья. – Что завтра?

Она долго не отвечала мне, потом протянула мне руку, и я стал снимать перчатку, целуя и руку и перчатку и наслаждаясь их тонким, женственным запахом.

– Да! – сказала она медленно, и я близко видел в звездном свете ее бледное и счастливое лицо. – Когда я была девушкой, я без конца мечтала о счастье, но все оказалось так скучно и обыденно, что теперь эта, может быть, единственная счастливая ночь в моей жизни кажется мне непохожей на действительность и преступной. Завтра я с ужасом вспомню эту ночь, но теперь мне все равно... Я люблю тебя, – говорила она нежно, тихо и вдумчиво, как бы говоря только для самой себя.

Редкие, голубоватые звезды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу расчищалось, и тополи на обрывах чернели резче, и море все более отделялось от далеких горизонтов. Была ли она лучше других, которых я любил, я не знаю, но в эту ночь она была несравненной. И когда я целовал платье на ее коленях, а она тихо смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне лицом бессмертной.

1901

Новый год

– Послушай, – сказала жена, – мне жутко.

Была лунная зимняя полночь, мы ночевали на хуторе в Тамбовской губернии, по пути в Петербург с юга, и спали в детской, единственной теплой комнате во всем доме. Открыв глаза, я увидел легкий сумрак, наполненный голубоватым светом, пол, покрытый попонами, и белую лежанку. Над квадратным окном, в которое виднелся светлый снежный двор, торчала щетина соломенной крыши, серебрившаяся инеем. Было так тихо, как может быть только в поле в зимние ночи.

– Ты спишь, – сказала жена недовольно, – а я задремала давеча в возке и теперь не могу...

Она полулежала на большой старинной кровати у противоположной стены. Когда я подошел к ней, она заговорила веселым шепотом:

– Слушай, ты не сердись, что я разбудила тебя? Мне правда стало жутко немного и как-то очень хорошо. Я почувствовала, что мы с тобой совсем, совсем одни тут, и на меня напал чисто детский страх...

Она подняла голову и прислушалась.

– Слышишь, как тихо? – спросила она чуть слышно.

Мысленно я далеко оглянул снежные поля вокруг нас, – всюду было мертвое молчание русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался Новый год... Так давно не ночевал я в деревне, и так давно не говорили мы с женой мирно! Я несколько раз поцеловал ее в глаза и волосы с той спокойной любовью, которая бывает только в редкие минуты, и она внезапно ответила мне порывистыми поцелуями влюбленной девушки. Потом долго прижимала мою руку к своей загоревшейся щеке.

– Как хорошо! – проговорила она со вздохом и убежденно. И, помолчав, прибавила: – Да, все-таки ты единственный близкий мне человек! Ты чувствуешь, что я люблю тебя?

Я пожал ее руку.

– Как это случилось? – спросила она, открывая глаза. – Выходила я не любя, живем мы с тобой дурно, ты говоришь, что из-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существование... И, однако, все чаще мы чувствуем, что мы нужны друг другу. Откуда это приходит и почему только в некоторые минуты? С Новым годом, Костя! – сказала она, стараясь улыбнуться, и несколько теплых слез упало на мою руку.

Положив голову на подушку, она заплакала, и, верно, слезы были приятны ей, потому что изредка она поднимала лицо, улыбалась сквозь слезы и целовала мою руку, стараясь продлить их нежностью. Я гладил ее волосы, давая понять, что я ценю и понимаю эти слезы. Я вспомнил прошлый Новый год, который мы, по обыкновению, встречали в Петербурге в кружке моих сослуживцев, хотел вспомнить позапрошлый – и не мог, и опять подумал то, что часто приходит мне в голову: годы сливаются в один, беспорядочный и однообразный, полный серых служебных дней, умственные и душевные способности слабеют, и все более неосуществимыми кажутся надежды иметь свой угол, поселиться где-нибудь в деревне или на юге, копаться с женой и детьми в виноградниках, ловить в море летом рыбу... Я вспомнил, как ровно год тому назад жена с притворной любезностью заботилась и хлопотала о каждом, кто, считаясь нашим другом, встречал с нами новогоднюю ночь, как она улыбалась некоторым из молодых гостей и предлагала загадочно-меланхолические тосты и как чужда и неприятна была мне она в тесной петербургской квартирке...

– Ну, полно, Оля! – сказал я.

– Дай мне платок, – тихо ответила она и по-детски, прерывисто вздохнула. – Я уже не плачу больше.

Лунный свет воздушно-серебристой полосой падал на лежанку и озарял ее странно, яркою бледностью. Все остальное было в сумраке, и в нем медленно плавал дым моей папиросы. И от попон на полу, от теплой, озаренной лежанки – ото всего веяло глухой деревенской жизнью, уютностью родного дома...

– Ты рада, что мы заехали сюда? – спросил я.

– Ужасно, Костя, рада, ужасно! – ответила жена с порывистой искренностью. – Я думала об этом, когда ты уснул. По-моему, – сказала она уже с улыбкой, – венчаться надо бы два раза. Seriously, какое это счастье – стать под венец сознательно, поживши, пострадавши с человеком! И непременно жить дома, в своем углу, где-нибудь подальше ото всех... «Родиться, жить и умереть в родном доме», – как говорит Мопассан!

Она задумалась и опять положила голову на подушку.

– Это сказал Сент-Бёв, – поправил я.

– Все равно, Костя. Я, может быть, и глупая, как ты постоянно говоришь, но все-таки одна люблю тебя... Хочешь, пойдем гулять?

– Гулять? Куда?

– По двору. Я надену валенки, твой полушубочек... Разве ты уснешь сейчас?

Через полчаса мы оделись и, улыбаясь, остановились у двери.

– Ты не сердись? – спросила жена, взяв мою руку. Она ласково заглядывала мне в глаза, и лицо ее было необыкновенно мило в эту минуту, и вся она казалась такой женственной в серой шали, которой она по-деревенски закутала голову, и в мягких валенках, делавших ее ниже ростом.

Из детской мы вышли в коридор, где было темно и холодно, как в погребке, и в темноте добрались до прихожей. Потом заглянули в залу и гостиную... Скрип двери, ведущей в залу, раздался по всему дому, а из сумрака большой, пустой комнаты, как два огромных глаза, глянули на нас два высоких окна в сад. Третье было прикрыто полуразломанными ставнями.

– Ау! – крикнула жена на пороге.

– Не надо, – сказал я, – лучше посмотри, как там хорошо.

Она притихла, и мы несмело вошли в комнату. Очень редкий и низенький сад, вернее, кустарник, раскиданный по широкой снежной поляне, был виден из окон, и одна половина его была в тени, далеко лежавшей от дома, а другая, освещенная, четко и нежно белела под звездным небом тихой зимней ночи. Кошка, неизвестно как попавшая сюда, вдруг спрыгнула с мягким стуком с подоконника и мелькнула у нас под ногами, блеснув золотисто-оранжевыми глазами. Я вздрогнул, и жена тревожным шепотом спросила меня:

– Ты боялся бы здесь один?

Прижимаясь друг к другу, мы прошли по зале в гостиную, к двойным стеклянным дверям на балкон. Тут еще до сих пор стояла огромная кушетка, на которой я спал, приезжая в деревню студентом. Казалось, что еще вчера были эти летние дни, когда мы всей семьей обедали на балконе... Теперь в гостиной пахло плесенью и зимней сыростью, тяжелые, промерзлые обои кусками висели со стен... Было больно и не хотелось думать о прошлом, особенно перед лицом этой прекрасной зимней ночи. Из гостиной виден был весь сад и белоснежная равнина под звездным небом, – каждый сугроб чистого, девственного снега, каждая елочка среди его белизны.

– Там утонешь без лыж, – сказал я в ответ на просьбу жены пройти через сад на гумно. – А бывало, я по целым ночам сидел зимой на гумнах, в овсяных ометах... Теперь зайцы небось приходят к самому балкону.

Оторвав большой, неуклюжий кусок обоев, висевший у двери, я бросил его в угол, и мы вернулись в прихожую и через большие бревенчатые сени вышли на морозный воздух. Там я сел на ступени крыльца, закуривая папиросу, а жена, хрустя валенками по снегу, сбежала на

сугробы и подняла лицо к бледному месяцу, уже низко стоявшему над черной длинной избой, в которой спали сторож усадьбы и наш ящик со станции.

– Месяц, месяц, тебе золотые рога, а мне золотая казна! – заговорила она, кружась, как девочка, по широкому белому двору.

Голос ее звонко раздался в воздухе и был так странен в тишине этой мертвой усадьбы. Кружась, она прошла до ямщицкой кибитки, черневшей в тени перед избой, и было слышно, как она бормотала на ходу:

Татьяна на широкий двор
В открытом платице выходит,
На месяц зеркало наводит,
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна...

– Никогда я уж не буду гадать о суженом! – сказала она, возвращаясь к крыльцу, запыхавшись и весело дыша морозной свежестью, и села на ступени возле меня. – Ты не уснул, Костя? Можно с тобой сесть рядом, миленький, золотой мой?

Большая рыжая собака медленно подошла к нам из-за крыльца, с ласковой снисходительностью виляя пушистым хвостом, и она обняла ее за широкую шею в густом меху, а собака глядела через ее голову умными вопросительными глазами и все так же равнодушно-ласково, вероятно, сама того не замечая, махала хвостом. Я тоже гладил этот густой, холодный и глянцеви́тый мех, глядел на бледное человеческое лицо месяца, на длинную черную избу, на сияющий снегом двор и думал, подбадривая себя:

«В самом деле, неужели уже все потеряно? Кто знает, что принесет мне этот Новый год?»

– А что теперь в Петербурге? – сказала жена, поднимая голову и слегка отпихивая собаку. – О чем ты думаешь, Костя? – спросила она, приближая ко мне помолодевшее на морозе лицо. – Я думаю о том, что вот мужики никогда не встречают Нового года, и во всей России теперь все давным-давно спят...

Но говорить не хотелось. Было уже холодно, в одежду пробирался мороз. Вправо от нас видно было в ворота блестящее, как золотая слюда, поле, и голая лозинка с тонкими обледеневшими ветвями, стоявшая далеко в поле, казалась сказочным стеклянным деревом. Днем я видел там остов дохлой коровы, и теперь собака вдруг насторожилась и остро приподняла уши: далеко по блестящей слюде побежало от лозинки что-то маленькое и темное, – может быть, лисица, – и в чуткой тишине долго замирало чуть уловимое, таинственное потрескивание наста.

Прислушиваясь, жена спросила:

– А если бы мы остались здесь?

Я подумал и ответил:

– А ты бы не соскучилась?

И как только я сказал, мы оба почувствовали, что не могли бы выжить здесь и года. Уйти от людей, никогда не видать ничего, кроме этого снежного поля! Положим, можно заняться хозяйством... Но какое хозяйство можно завести в этих жалких остатках усадьбы, на сотне десятин земли? И теперь всюду такие усадьбы, – на сто верст в окружности нет ни одного дома, где бы чувствовалось что-нибудь живое! А в деревнях – голод...

Заснули мы крепко, а утром, прямо с постели, нужно было собираться в дорогу. Когда за стеною закрипели полозья и около самого окна прошли по высоким сугробам лошади, запряженные гусем, жена, полусонная, грустно улыбнулась, и чувствовалось, что ей жаль покидать теплую деревенскую комнату...

«Вот и Новый год! – думал я, поглядывая из скрипучей, опушенной инеем кибитки в серое поле. – Как-то мы проживем эти новые триста шестьдесят пять дней?»

Но мелкий лепет бубенчиков спутывал мысли, думать о будущем было неприятно. Выглядывая из кибитки, я уже едва различал мутный серо-сизый пейзаж усадьбы, все более уменьшающийся в ровной снежной степи и постепенно сливающийся с туманной далью морозного туманного дня. Покрикивая на заиндевеливших лошадей, ямщик стоял и, видимо, был совершенно равнодушен и к Новому году, и к пустому полю, и к своей и к нашей участи. С трудом добравшись под тяжелым армяком и полушубком до кармана, он вытащил трубку, и скоро в зимнем воздухе запахло серой и душистой махоркой. Запах был родной, приятный, и меня трогали и воспоминание о хуторе, и наше временное примирение с женою, которая дремала, прижавшись в угол возка и закрыв большие, серые от инея ресницы. Но, повинаясь внутреннему желанию поскорее забыться в мелкой суете и привычной обстановке, я делано-весело покрикивал:

– Погоняй, Степан, потрогивай! Опоздаем!

А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов, и мелкий лепет бубенчиков так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди...

1901

Заря всю ночь

I

На закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в незакрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. Гром грохотал над крышей, гулко возрастая и раздражаясь треском, когда мелькала красноватая молния, от нависших туч темнело. Потом приехали с поля в мокрых чекменях работники и стали распрягать у сарая грязные сохи, потом пригнали стадо, наполнившее всю усадьбу ревом и блеянием. Бабы бегали по двору за овцами, подоткнув подолы и блестя белыми босыми ногами по траве; пастушонок в огромной шапке и растрепанных лаптях гонялся по саду за коровой и с головой пропадал в облитых дождем лопухах, когда корова с шумом кидалась в чашу... Наступала ночь, дождь перестал, но отец, ушедший в поле еще утром, все не возвращался.

Я была одна дома, но я тогда никогда не скучала; я еще не успела насладиться ни своей ролью хозяйки, ни свободой после гимназии. Брат Паша учился в корпусе, Анюта, вышедшая замуж еще при жизни мамы, жила в Курске; мы с отцом провели мою первую деревенскую зиму в уединении. Но я была здорова и красива, нравилась сама себе, нравилась даже за то, что мне легко ходить и бегать, работать что-нибудь по дому или отдавать какое-нибудь приказание. За работой я напевала какие-то собственные мотивы, которые меня трогали. Увидав себя в зеркале, я невольно улыбалась. И, кажется, все было мне к лицу, хотя одевалась я очень просто.

Как только дождь прошел, я накинула на плечи шаль и, подхватив юбки, побежала к варку, где бабы доили коров. Несколько капель упало с неба на мою открытую голову, но легкие неопределенные облака, высоко стоявшие над двором, уже расходились, и на дворе реял странный, бледный полусвет, как всегда бывает у нас в майские ночи. Свежесть мокрых трав доносилась с поля, мешаясь с запахом дыма из топившейся людской. На минуту я заглянула и туда, – работники, молодые мужики в белых замашных рубашках, сидели вокруг стола за чашкой похлебки и при моем появлении встали, а я подошла к столу и, улыбаясь над тем, что я бежала и запыхалась, сказала:

– А папа где? Он был в поле?

– Они были не надолго и уехали, – ответило мне несколько голосов сразу.

– На чем? – спросила я.

– На дрожках, с барчуком Сиверсом.

– Разве он приехал? – чуть не сказала я, пораженная этим неожиданным приездом, но, вовремя спохватившись, только кивнула головой и поскорее вышла.

Сиверс, кончив Петровскую академию, отбывал тогда воинскую повинность. Меня еще в детстве называли его невестой, и он тогда очень не нравился мне за это. Но потом мне уже нередко думалось о нем, как о женихе; а когда он, уезжая в августе в полк, приходил к нам в солдатской блузе с погонами и, как все вольноопределяющиеся, с удовольствием рассказывал о «словесности» фельдфебеля-малоросса, я начала свыкаться с мыслью, что буду его женой. Веселый, загорелый – резко белела у него только верхняя половина лба, – он был очень мил мне.

«Значит, он взял отпуск», – взволнованно думала я, и мне было и приятно, что он приехал, очевидно, для меня, и жутко. Я торопилась в дом приготовить отцу ужин, но, когда я вошла в лакейскую, отец уже ходил по залу, стуча сапогами. И почему-то я необыкновенно обрадовалась ему. Шляпа у него была сдвинута на затылок, борода растрепана, длинные сапоги и чесучовый пиджак закиданы грязью, но он показался мне в эту минуту олицетворением мужской красоты и силы.

– Что ж ты в темноте? – спросила я.

– Да я, Тата, – ответил он, называя меня, как в детстве, – сейчас лягу и ужинать не буду. Устал ужасно, и притом, знаешь, который час? Ведь теперь всю ночь заря, – заря зарю встречает, как говорят мужики. – Разве молока, – прибавил он рассеянно.

Я потянулась к лампе, но он замахал головой и, разглядывая стакан на свет, нет ли мухи, стал пить молоко. Соловьи уже пели в саду, и в те три окна, что были на северо-запад, виднелось далекое светло-зеленое небо над лиловыми весенними тучками неясных и красивых очертаний. Все было неопределенно и на земле, и в небе, все смягчено легким сумраком ночи, и все можно было разглядеть в полусвете непогасшей зари. Я спокойно отвечала отцу на вопросы по хозяйству, но, когда он внезапно сказал, что завтра к нам придет Сиверс, я почувствовала, что краснею.

– Зачем? – пробормотала я.

– Свататься за тебя, – ответил отец с принужденной улыбкой. – Что ж, малый красивый, умный, будет хороший хозяин... Мы уж пропили тебя.

– Не говори так, папочка, – сказала я, и на глазах у меня навернулись слезы.

Отец долго глядел на меня, потом, поцеловав в лоб, пошел к дверям кабинета.

– Утро вечера мудренее, – прибавил он с усмешкой.

II

Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помалу задремывая, часы зашипели и звонко и печально прокуковали одиннадцать...

«Утро вечера мудренее», – пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стало легко и как-то счастливо-грустно.

Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все в усадьбе тоже спало. И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловьев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари. Стараясь не шуметь, я стала осторожно убирать со стола, переходя на цыпочках из комнаты в комнату, поставила в холодную печку в прихожей молоко, мед и масло, прикрыла чайный сервиз салфеткой и прошла в свою спальню. Это не разлучало меня с соловьями и зарей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.